

0011

ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ

К. СИМОНОВ

237
P29684

Третий адъютант



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1942

ТРЕТИЙ АДЪЮТАНТ

Комиссар считал, что смелых убивают реже, чем трусов. Это было его твердое убеждение. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили.

В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу. Брал его с собой в штабе дивизии, в полку и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать.

Если приходилось идти в атаку, он брал этого человека с собой в атаку и шел рядом с ним.

Если человек выдерживал испытание, то вечером комиссар знакомился с ним еще раз.

— Как фамилия? — вдруг спрашивал он своим отрывистым голосом.

Удивленный командир снова называл свою фамилию.

— А моя — Корнев, — говорил тогда комиссар, протягивая руку. — Корнев. Вместе ходили, вместе на животе лежали, теперь будем знакомы.

В первую же неделю по прибытии в дивизию у него убили двух адъютантов.

Первый спрусил и в тяжелую минуту вышел из окопа, чтобы поползти назад. Его срезал пулемет.

Вечером, возвращаясь в штаб, комиссар равнодушно прошел мимо мертвого адъютанта, даже не повернув в его сторону головы.

Второй адъютант был ранен навывлет в грудь во время атаки. Последнее осеннее солнце резало глаза. Было холодно и нестерпимо сухо. Он лежал в отбитом окопе на спине и, широко глотая воздух, просил пить. Воды не было. Вперед, за бруствером, лежали трупы немцев. Около одного из них валялась фляга.

Комиссар вынул бинокль и долго смотрел, словно стараясь разглядеть, пустая она или полная. Потом, тяжело перенеся через бруствер свое грузное немолодое тело, он пошел по полю всегдашней неторопливой походкой.

Неизвестно почему, немцы не стреляли. Они начали стрелять только тогда, когда он дошел до фляги, поднял ее, взболтнул и, зажав подмышкой, повернулся.

Ему стреляли в спину. Во флягу попала пуля. Он зажал дырку пальцами и пошел дальше, теперь неся флягу в вытянутых руках.

Спрыгнув в окоп; он осторожно, чтобы не пролить, передал флягу кому-то из бойцов.

— Напайте!

— А вдруг бы дошли, а она — пустая?.. — заинтересованно спросил кто-то.

— А вот вернулся бы и послал вас искать другую, полную! — сердито смерив взглядом спросившего, сказал комиссар.

Он часто делал вещи, которые, вообще говоря, комиссар дивизии делать был не обязан. Но вспоминал об этом всегда только потом, уже сделав. Тогда он сердился и на себя, и на тех, кто напоминал ему о его поступке.

Так было и сейчас. Принеся флягу, он уже больше не подходил к адъютанту и, казалось, совсем забыл о нем, занявшись наблюдением за полем боя.

Через пятнадцать минут он неожиданно окликнул командира батальона:

— Ну, отправили в санбат?

— Нельзя, товарищ комиссар, придется ждать дотемна.

— Дотемна он умрет.— И комиссар отвернулся, считая разговор оконченным.

Через пять минут двое красноармейцев, пригибаясь под пулями, несли неподвижное тело адъютанта назад по кочковатому полю.

Может быть, это было безрассудно, но, когда командир батальона спросил: «Кто понесет?», люди, видевшие, как комиссар ходил за флягой, сказали: «Я!» Они не могли этого не сказать, видеть и не сказать.

А комиссар хладнокровно смотрел, как они шли. Он одинаково мерил опасность и для себя и для других. Люди умирают — на то и война. Но храбрые умирают реже.

Красноармейцы шли смело, не падая, не забывая, что они несут раненого, и именно поэтому он верил, что они дойдут.

Ночью, по дороге в штаб, комиссар заехал в санбат.

— Ну, как, поправляется, вылечили?—спросил он хирурга со своей обычной торопливостью. Ему, по его характеру, казалось, что на войне все можно и должно делать одинаково быстро: доставлять донесения, ходить в атаки, лечить раненых.

И когда хирург ответил ему, что его адъютант умер от потери крови, он удивленно поднял глаза.

— Вы понимаете, что вы говорите? — тихо сказал он, взяв хирурга за портупею и близко придвинув к себе. — Люди под огнем несли его две версты, чтобы он выжил, а вы говорите — умер. Зачем же они его несли?

О том, что люди, кроме того, ходили под огнем за водой, он промолчал. Промолчал не из скромности, а просто потому, что уже успел забыть об этом.

Хирург пожал плечами.

— И потом, — заметив это движение, добавил комиссар, — он ведь был смелый парень, он должен был выжить. Да, да, должен! — сердито повторил он. — Плохо работаете.

И, не простившись, пошел к машине. Сильные пятна фар скользнули по черным стволам кипарисов. Машина свернула влево и скрылась.

Хирург смотрел вслед. Конечно, комиссар был не прав. Может быть, даже, логически рассуждая, он сказал сейчас глупость. И все-таки было в его словах, в сердитом и грустном голосе

что-то такое сильное и убеждающее, что хирургу на минуту показалось, что действительно смелые не должны умирать, а если все-таки умирают, то это потому, что он плохо работает.

— Ерунда! — сказал он вслух, пробуя отделаться от этой странной мысли.

Но мысль не уходила. Ему показалось, что он видит, как двое красноармейцев несут раненого по бесконечному кочковатому полю.

— Михаил Львович, — вдруг сказал он, как о чем-то уже давно решенном, своему помощнику, вышедшему на крыльцо покурить, — надо будет утром вынести дальше, вперед, еще два перевязочных пункта с врачами...

Комиссар добрался до штаба только к рассвету. За окнами шел мелкий дождь со снежной крупой. Начиналась осенняя непогода. Комиссар был не в духе и, вызывая к себе людей, сегодня особенно быстро отправлял их с короткими, большей частью ворчливыми напутствиями. Впрочем, это он делал не просто так, в этом были свой расчет и хитрость. Комиссар любил, когда люди уходили от него сердитыми. Он считал, что человек все может. И если человек делал многое, то комиссар ставил ему в утрек, что он не сделал еще больше. Когда люди немножко сердятся, они лучше думают, — это было его глубокое убеждение. Он любил обрывать разговор на полуслове, так, чтобы человеку было понятно главное, а об остальном тот догадывался бы сам. Именно таким образом он добивался, чтобы в дивизии всегда чувствовалось его при-

существо. Он не мог быть все время с каждым. Но, побыв с человеком минуту, он старался сделать так, чтобы тому было над чем думать до следующего свидания.

Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Читая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому, опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны бестактностью, но ничего, ничего: пусть думает, может, рассердится и придумает что-нибудь хорошее. Он не сожалел о сказанном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе за эти месяцы войны слишком о многих пришлось бы вспоминать. Он будет вспоминать об этом потом, после войны, когда неожиданная смерть станет несчастьем или случайностью. А пока — смерть всегда неожиданна. Другой сейчас и не бывает, пора к этому привыкнуть. И он, должно быть, оттого, что, несмотря на эти рассуждения, ему было все-таки грустно, как-то особенно сухо сказал начальнику штаба, что у него убили адъютанта и надо найти нового.

Третий адъютант был маленький, светловолосый и голубоглазый паренек, только что выпущенный из школы и впервые попавший на фронт.

Когда в первый же день знакомства ему пришлось идти рядом с комиссаром вперед, в батальон, по подмерзшему осеннему полю, на котором часто рвались мины, он ни на шаг не отставал от комиссара. Он шел вплотную, рядом, потому что таков был, по его понятиям, долг адъютанта и еще потому, что этот большой,

грузный человек с его неторопливой походкой казался ему неуязвимым. Казалось, что если идти совсем рядом с ним, то ничего не может случиться.

Когда мины начали рваться особенно часто и стало ясно, что немцы охотятся именно за ними, комиссар и адъютант стали изредка ложиться.

Но не успевали они лечь, не успевал рассеяться дым от близкого разрыва, как комиссар уже вставал и шел дальше.

— Вперед, вперед, — говорил он ворчливо, — нечего нам тут дожидаться.

Почти у самых окопов их накрыла вилка. Одна мина разорвалась впереди, другая сзади.

Комиссар встал, отряхиваясь от земли.

— Вот видите, — сказал он на ходу, показывая на маленькую воронку сзади, — если бы мы с вами трусили да ждали, как раз она бы по нас и пришлась. Всегда надо быстрее вперед идти, — тогда ни за что не попадет.

— Ну, а если бы мы еще быстрее шли, так... — и адъютант, не договорив, кивнул на воронку, бывшую впереди них.

— Ничего подобного, — сказал комиссар. — Они же по нас сюда били, это недолет. А если бы мы уже были там, они бы туда целили, и опять был бы недолет.

Адъютант невольно улыбнулся: комиссар, конечно, шутил! Но вдруг он увидел, что лицо комиссара было совершенно серьезно. Он говорил с полной убежденностью. И вдруг вера в этого человека, вера, возникающая у нас на войне мгновенно, вдруг, и остающаяся раз и

навсегда, охватила адъютанта. Последние сто шагов он шел рядом с комиссаром совсем тесно, локоть в локоть; теперь он окончательно знал, что ни этого человека, ни того, кто идет рядом с ним, убить нельзя.

Так состоялось их первое знакомство.

Прошел месяц. Южные дороги то подмерзали, то снова становились вязкими и непроходимыми. На виноградниках ржавел и гнил неубранный виноград. Опустевшие поля были изрыты окопами.

Где-то в тылу, по слухам, готовились армии для контрнаступления, а пока поредевшая дивизия все еще вела кровавые оборонительные бои.

Была темная осенняя ночь. Комиссар, сидя в землянке, пристраивал на железной печке поближе к огню свои мокрые, забрызганные грязью сапоги.

Сегодня утром был тяжело, очевидно, смертельно, ранен командир дивизии. Начальник штаба, положив на стол подвязанную черным платком раненую руку, тихонько барабанил по столу пальцами. То, что он мог делать, доставляло ему удовольствие: пальцы снова начинали его слушаться.

— Ну, хорошо, упрямый вы человек, — продолжал он прерванный, видимо, разговор. — Ну, пусть Холодилина убили потому, что он боялся, но генерал-то ведь был храбрым человеком, как по-вашему?

— Не был, а есть. И он выживет, — сказал комиссар и по своей вечной привычке отвернулся, считая, что тут не о чем больше говорить.

Но начальник штаба потянул его за рукав и сказал совсем тихо, так, чтобы никто лишний не слышал его грустных слов:

— Ну, он выживет. Но ведь Миронов не выжил, и Заводчиков не выжил, и Гавриленко не выжил. Они умерли, а ведь они были храбрые люди. Как же с вашей теорией?

— У меня нет теорий, — резко сказал комиссар. — Я просто знаю, что в одинаковых обстоятельствах храбрые реже гибнут, чем трусы. А если у вас не сходят с языка имена тех, кто был храбр и все-таки умер, то это потому, что когда умирает трус, то о нем забывают прежде, чем его зароят, а когда умирает храбрый, то о нем помнят, говорят и пишут. Мы помним только имена храбрых. Вот и все. А если вы все-таки называете это моей теорией — воля ваша. Теория, которая помогает людям не бояться, хорошая теория. А все остальные — плохие. Между прочим, мне она тоже помогает не бояться, — вдруг улыбнулся комиссар. — Ведь, между нами говоря, как хотите, а иногда и нам с вами страшно бывает.

В землянку вошел адъютант. Его лицо за этот месяц потемнело, глаза стали усталыми. Но в остальном он остался все тем же мальчишкой, каким в первый день увидел его комиссар. Щелкнув каблуками, он доложил, что на полуострове, откуда он только что вернулся, все в порядке, только ранен командир роты — старший лейтенант Поляков.

— Кто вместо него? — спросил комиссар.

— Лейтенант Васильев из третьего взвода.

— А кто же в третьем взводе?

— Какой-то сержант.

Комиссар на минуту задумался.

— Сильно замерзли? — спросил он адъютанта.

— По правде говоря, сильно.

— Выпейте, — комиссар налил из чайника пол-стакана водки, и адъютант, не снимая шинели, только наспех распахнув ее, залпом выпил.

— А теперь поезжайте обратно, — сказал комиссар. — Я тревожусь, понимаете? Вы должны быть там, на полуострове, моими глазами. Поезжайте!

Адъютант встал. Он застегивал крючки шинели тем особым медленным движением человека, которому хочется еще минуту побыть в тепле. Но, застегнув, он больше не медлил. Низко согнувшись, чтобы не задеть за притолоку, он исчез в темноте. Дверь хлопнула.

— Хороший парень, — сказал комиссар, проводив его глазами, — вот в таких я верю; что с ними ничего не случится. Я верю в то, что они будут целы, а они верят — что я. А это самое главное. Верно, полковник?

Начальник штаба медленно барабанил пальцами по столу. Храбрый человек, он не любил подводить никаких теорий ни под свою, ни под чужую храбрость. Но сейчас ему казалось, что комиссар прав.

— Да, — сказал он. — И вообще я не верю, что кто-то умирает. Мне всегда кажется, что где-то есть кто-то другой, который придет на

место мертвого и будет не хуже его, и поэтому я верю, что мы победим, потому что раз действительно так, то иначе не может быть.

В печке трещали поленья. Комиссар спал, упав лицом на десятиверстку и раскинув на ней руки так широко, как будто он хотел забрать обратно всю большую, начерченную на ней, оскверненную врагом землю.

Утром комиссар сам выехал на полуостров. Он переправлялся туда через лиман на утлой лодке. Дул северный ветер, и седые барашки с треском колотились о днище.

Потом он не любил вспоминать об этом дне. Ночью немцы, внезапно высадившись на полуострове, в жестоком бою перебили передовой третий взвод весь, до последнего человека.

Комиссару в течение дня пришлось делать то, что ему, комиссару дивизии, в сущности, делать совсем не полагалось. Он утром собрал всех, кто был под рукой, и трижды водил их в атаку. Тронутый первыми заморозками, гремучий песок был изрыт воронками и залит кровью. Немцы были убиты или взяты в плен. Пытавшиеся добраться до своего берега вплавь потонули.

Передав кому-то уже ненужную винтовку с окровавленным штыком, комиссар обходил полуостров. О том, что происходило здесь ночью, ему могли рассказать только мертвые. Мертвые тоже умеют говорить. Между трупами немцев лежали убитые красноармейцы третьего взвода. Одни из них лежали в окопах, исколотые штыками, зажав в мертвых руках разбитые винтовки.

Другие, те, кто не выдержали и струсили, валялись на открытом поле, в мерзлой зимней степи. Они бежали, и здесь их настигли пули. Они лежали упав, раскинув руки, лицом на восток, спиной к врагу. Комиссар медленно обходил молчаливое поле боя и вглядывался в позы убитых, в их застывшие лица. Для него и после смерти эти люди все равно делились на трусов и храбрых. В позе мертвого он угадывал, как тот вел себя в последние минуты жизни. И даже смерть не примиряла его с мертвым трусом. Он не мог простить трусости и после смерти. Если бы это было возможно, он похоронил бы отдельно храбрых и отдельно трусов. Пусть после смерти они, как и при жизни, будут отделены друг от друга.

Он напряженно вглядывался в лица, ища своего адъютанта. Его адъютант не мог бежать и не мог попасть в плен, он должен был быть где-то здесь, среди погибших.

Наконец, сзади, далеко от окопов, где дрались и умирали люди, комиссар нашел его. Адъютант лежал навзничь, неловко подогнув под спину одну руку и вытянув другую с насмерть зажатым в ней наганом. На груди, на гимнастерке, запеклась кровь.

Комиссар долго стоял над ним, потом, позвав одного из бывших рядом командиров, приказал приподнять гимнастерку и посмотреть, какая рана, пулевая или штыковая.

Он посмотрел бы и сам, но правая рука его, раненая в атаке несколькими осколками гранаты, бессильно повисла вдоль тела. Он с раздраже-

нием смотрел на свою обрезанную до плеча гимнастерку, на кровавые, наспех замотанные бинты. Его сердили не столько рана и боль, сколько самый факт, что он был ранен, — он, которого считали в дивизии неуязвимым, он, веря в неуязвимость которого, люди, легче и безбоязненной шли в бой. Рана была некстати, ее скорее надо было залечить и забыть.

Командир, наклонившись над адъютантом, приподнял гимнастерку и расстегнул белье.

— Штыковая, — сказал он, подняв голову к комиссару, и снова согнулся над адъютантом. Согнулся и надолго, на целую минуту, прижал к неподвижному телу.

Когда он поднялся, лицо его было удивленным.

— Еще дышит, — сказал он.

— Дышит?

Комиссар ничем не выдал своего волнения. Он еще не знал, надо ли волноваться за этого оказавшегося живым человека. Он лежал здесь, далеко позади окопов, он, наверно, бежал. И все-таки — нет, не может быть. Он очень редко ошибался в людях.

— Двое, сюда, — вдруг резко приказал он. — На руки и быстрее до перевязочного пункта. Может быть, выживет.

И, повернувшись, он пошел дальше по полю.

Выживет или нет? Этот вопрос у него путался с другим: как он себя вел в бою, почему оказался сзади всех, в поле? И невольно оба вопроса связывались в одно: если все хорошо, если вел себя храбро, — значит, выживет, непременно выживет.

И должно быть, поэтому, когда через месяц на командный пункт дивизии из госпиталя пришел адъютант, побледневший и худой, но все такой же светловолосый, голубоглазый и похожий на мальчишку, комиссар ничего не спросил у него, а только молча протянул для пожатия левую, здоровую, руку.

— А я ведь так тогда и не дошел до третьего взвода,— после первых слов приветствия сказал адъютант,— застрял на переправе, еще сто шагов оставалось, когда...

— Знаю,— прервал его комиссар,— все знаю, не объясняйте. Знаю, что молодец, рад, что выжили.

Он с завистью посмотрел на мальчишку, который через месяц после смертельной раны был снова живым и здоровым, и, кивнув на свою все еще перевязанную руку, грустно сказал:

— А у нас с полковником уже годы не те. Второй месяц заживает. А у него третий. Так и правым дивизией — двумя руками. Он правой, а я — левой. Хотя, впрочем, что ж,— ничего, говорят, получается...
